

ГЛАВА 1

Мама утонула ночью 23 мая, в день моего рождения, у берегов морского поселка Спаккавенто, что в нескольких километрах от Минтурно. Именно здесь в пятидесятые годы, когда отец еще жил с нами, мы снимали летом комнату — тесную, душную каморку, где и ютились весь июль впятером. Каждое утро мы с сестрами, тогда еще совсем девочки, глотали по сырому домашнему яйцу и спешили на море, пробираясь через высокий тростник по песчаным тропинкам, — поскорее купаться. В ночь, когда погибла мама, хозяйка того самого дома, где мы снимали комнатушку — ее звали Роза, и ей уже перевалило за шестьдесят, — слышала стук в дверь, но не открыла, испугавшись, что это воры или убийцы.

Двумя днями раньше, 21 мая, мама села на поезд до Рима, но так и не добралась туда. В последнее

время она навещала меня по крайней мере раз в месяц, приезжая на несколько дней. Меня тяготило ее присутствие. Вставала она с рассветом и по своему обыкновению сразу принималась наводить порядок — на кухне и в гостиной не было угла, который миновала бы уборка. Я пыталась снова заснуть, но не получалось: все тело было напряжено, и казалось, останься я еще на мгновение в кровати — и наверняка превращусь в девочку с лицом, изъеденным морщинами. Потом мама приносила кофе, и я тут же переворачивалась на бок, чтобы не соприкасаться с ней, когда она садилась на край кровати. Ее общительность меня раздражала: мама заводила дружбу с продавцами, с которыми за десять лет я едва ли обменялась парой слов; она отправлялась на прогулку по городу, прихватив с собой случайных попутчиков; перезнакомилась со всеми моими друзьями и болтала с ними о своей жизни, вечно рассказывая одни и те же истории. В ее присутствии я была зажатой и скованной.

Замечая, что утомляет меня, она возвращалась в Неаполь. Собирала свои вещи и, напоследок прибравшись в доме, уверяла, что скоро приедет снова. Стоило ей уехать, как я принималась придавать прежний облик комнатам, где мама успела навести свой собственный порядок. Я ставила солонку туда, где она стояла у меня годами, возвращала стиральный порошок на его привычное место, раскладывала все в ящиках комода так, как я привыкла, и снова устраивала рабочий беспорядок в кабинете.

И запах, отмечавший мамино присутствие, — он приносил в дом беспокойство — чуть погода уходил, как уходит аромат летнего дождя.

Часто она опаздывала на поезд. И тогда садилась на тот, что шел следом или на день позже, но я все равно не могла к этому привыкнуть и волновалась. Звонила ей, встревоженная. И, услышав наконец в трубке мамин голос, отчитывала ее — довольно сухо, впрочем, — за легкомыслие: как так получилось, что она опоздала, и почему не предупредила меня? Она беспечно и нехотя оправдывалась, мол, зачем я сгущаю краски, что может случиться с ней, в ее-то возрасте? “Да все что угодно”, — отвечала я. И рисовала в воображении сеть неприятностей, сплетенную специально для того, чтобы она исчезла — навсегда. В детстве я подолгу ждала, когда мама наконец придет домой, ждала на кухне, прижавшись лбом к оконному стеклу. Вот бы сейчас она появилась в конце улицы, окутанная хрустальным облаком. Я дышала на стекло, и оно запотевало; мне не хотелось видеть улицу без мамы. Вечерело, и моя тревога становилась до того невыносимой, что по телу бежала дрожь. Тогда я мчалась в кладовку, что примыкала к спальне родителей и где не было ни окон, ни света. Запиралась там и плакала в глухой темноте. Это помогало. В кладовке было настолько жутко, что страх — а вдруг с мамой что-то случится — отступал. В этом черном, затхлом до удушья углу с неистребимым запахом средства от клопов и тараканов меня обступали наваждения,

которые на долю секунды словно заволакивали мои зрачки и лишали дыхания. “Вот вернешься, и убью тебя”, — думала я, будто это мама запирала меня в кладовке. А потом, едва заслышав в коридоре ее голос, спешила выскочить наружу и подходила к ней с безразличным видом. О той кладовке я вспомнила, узнав, что мама часто садилась на поезд, чтобы ехать ко мне, но так и не появлялась у меня дома.

Тем вечером она позвонила. Спокойным голосом сообщила, что не может мне ничего рассказать: рядом с ней человек, при котором она говорить не станет. Потом рассмеялась и повесила трубку. Меня охватила растерянность. Я подумала, а вдруг мама просто пошутила, — и стала ждать еще одного звонка. Несколько часов кряду я ломала голову над происходящим, напрасно сидя у телефона. Миновала полночь, и я позвонила своему другу-полицейскому, он попытался успокоить меня: волноваться ни к чему, он попробует что-нибудь выяснить. Прошла ночь, а от мамы все не было вестей. Она ведь собралась ехать ко мне. Вдова Де Ризо, ее ровесница, с которой мама то была крайне любезна, то враждовала, сказала мне по телефону, что проводила ее на вокзал. Пока мама стояла в очереди за билетом, вдова сходила купить ей бутылку воды и журнал. Поезд был переполнен, но маме все-таки удалось найти место у окна — вокруг сидели сплошь военные, ехавшие на побывку. Мама с вдовой попрощались, наказав друг другу беречь себя. Во что мама была одета? Да как обычно, в то, что носит уже

целый век, — юбку и синий жакет, стоптанные туфли на низком каблуке; с собой у нее были черная сумочка и потертый дорожный чемодан.

В семь часов утра мама позвонила снова. Я набросилась на нее с вопросами (“Ты где? Откуда ты сейчас звонишь? С кем ты?”), однако вместо ответа она громко, внятно и будто смакуя опрокинула на меня целый ушат крепких ругательств на своем родном диалекте. И повесила трубку. У меня внутри все перевернулось. Я снова позвонила другу-полицейскому, озадачив его своими путаными фразами, в которые, мешаясь с привычным итальянским, хлынул диалект. Он спросил, не замечала ли я в последнее время за мамой особенной подавленности, уныния. Я не знала, что ответить. Наконец сказала, что мама и правда не такая, как раньше, — прежде она была спокойной, уравновешенной, веселой. Пусть даже она часто смеялась без причины и слишком много разговаривала; но ведь для пожилых людей это не редкость. Друг заверил меня, что со стариками такое случается — по весне, когда солнце начинает припекать, они совершают чудачества, каких только фокусов не выкидывают; волноваться нечего. Но я все равно переживала, исходила город вдоль и поперек, выискивая маму прежде всего в тех местах, где ей нравилось гулять.

В третий раз она позвонила около десяти вечера. Принялась сбивчиво рассказывать о человеке, который преследовал ее и пытался похитить, завернув в ковер. Она звала меня на помощь, немед-

ленно. Я умоляла ее объяснить, где она находится. Тогда у мамы изменился голос, она ответила, что лучше мне не вмешиваться. “Запри дверь, никому не открывай”, — наказала она. Потому что тот человек преследует и меня тоже. А потом добавила: “Ложись-ка спать. Я пойду приму ванну”. Вот и все.

На следующий день двое мальчиков заметили в нескольких метрах от берега ее тело, которое колыхалось на воде. На ней был только лифчик. Чемодан так и не нашли. Синий жакет тоже. Не обнаружили ни трусов, ни колготок, ни туфель; сумочка с документами тоже исчезла. Однако на пальце были два кольца, обручальное и то, какое надевают при помолвке. В ушах — серьги, подаренные моим отцом полвека тому назад.

Мне показали тело. Приблизившись к этому бесцветному предмету, я подумала, что, наверное, должна скорее прижаться к нему, чтобы не носить на себе клеймо жестокосердия. На теле не было следов насилия. Только синяки кое-где, судя по всему оттого, что волны, в ту ночь небольшие, ударили его о прибрежные рифы. Мне показалось, что вокруг ее глаз пролегли следы густого макияжа. Я долго смотрела на тело, чувствуя неловкость при виде этих бледных, посеревших ног, до странности молодых для женщины шестидесяти трех лет. Ту же неловкость и смущение я испытала, заметив, что лифчик был не из числа тех застиранных и вылинявших, какие мама обычно носила, — совсем напротив. Под невесомым, тончайшей выработки кружевом чаше-

чек темнели соски. Чашечки соединяла перемычка в виде трех букв “V” — фирменный знак сестер Восси, владелиц дорогого магазина женского белья в Неаполе. Когда мне отдали тот лифчик вместе с серьгами и кольцами, я долго нюхала его. У него был отвратительный запах новой ткани.

ГЛАВА 2

Н а похоронах я с удивлением поймала себя на мысли, что наконец-то свободна от обязанности заботиться о ней, волноваться. По телу заструилось тепло, и между ног стало влажно.

Я шла в самом начале длинной вереницы родственников, друзей, знакомых. Обе мои сестры крепко прижались ко мне. Одну я держала под руку, опасаясь, что она вот-вот потеряет сознание. Другая вцепилась мне в плечо, словно не видя ничего вокруг от застилавших глаза слез. Я испугалась той неожиданной нутряной реакции своего тела, будто почуяв в ней угрозу наказания. Мои глаза так и оставались сухими: слезы не текли, а может быть, я просто не хотела слез. Вдобавок я оказалась единственной, кто произнес слова в оправдание отца, который не явился на похороны и даже не прислал цветов. Се-

стры не стали скрывать, что осуждают меня, и явно старались продемонстрировать собравшимся, что у них-то достаточно слез, которые они готовы пролить и вместо меня, и вместо отца. Я чувствовала их молчаливые укоры. Когда процессия поравнялась на мгновение с темнокожим человеком, который нес на плече несколько картин в рамах — на одном из холстов, развернутом в нашу сторону, грубыми мазками была изображена разнузданная цыганка, — я подумала: хоть бы сестры с родственниками этого не заметили. Картины написал отец. Возможно, в ту минуту он тоже стряпал что-то подобное. Отвратительную цыганку продавали на улицах и ярмарках уже не один десяток лет, отец только и успевал штамповать копии, ради нескольких лир подчиняясь, как это всегда бывает, требованиям вульгарного вкуса мелкой буржуазии. Вот ирония жизни, словно нарочно подгадывающей моменты для встреч, расставаний, для обнажения застарелых обид — и теперь подстроившей так, что на мамины похороны явился не отец, но его пошлая картина, которую мы с сестрами ненавидим сильнее, чем его самого.

На меня навалилась усталость. С тех пор как я приехала в Неаполь, не было ни минуты передышки. С утра до вечера мы с дядей Филиппо, маминым братом, толклись в приемных мелких чиновников, занимавшихся бумажной волокитой, и пытались добиться от них ускорения хода дела, или же, отстояв длинную очередь, сами просили служащих устранить непреодолимые препятствия в об-